



А. Л. БЕМ

Художественная полемика с Толстым (К пониманию «Подростка»)*

«Детство и Отрочество» Толстого чрезвычайно поразило Достоевского одной своею особенностью. Достоевский назовет эту особенность позже характерным словом «благообразие». Жизнь Николеньки протекает на фоне его семьи перед глазами читателя и на всем ее протяжении ни разу не нарушается своеобразное «*comme il faut*», примененное к области душевной жизни. Всё — и чувства горести и чувства радости, и семейные разногласия, и социальные отношения — всё искусно окутано особой дымкой лирического «благообразия», за которым, при всей изумительной глубине и тонкости психологического анализа, не чувствуется хаотического начала человеческой души.

Достоевскому, которому особенно близка была именно эта хаотическая сторона души человеческой, непонятна была эта причесанность человеческих отношений в «Детстве и Отрочестве». Он, современник Толстого, видел кругом себя иную жизнь, и его детские воспоминания рисовали ему иные картины! А разве в семье Иртеньевых обстояло все так благополучно? Достоевский мог только горько улыбнуться такому вопросу.

«Что за человек был мой отец?» — озаглавлена одна из глав «Детства». Что же узнаем мы из этой главы? Необычайно спокойно и без малейшего чувства горечи и боли говорит Николенька здесь о своем отце: «Две главные страсти его в жизни были — карты и женщины: он выиграл в продолжение своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий». Да разве этого одного недостаточно, чтобы наполнить собою целый роман, преисполненный жути

* Доклад на 1-м Съезде славянских филологов в Праге в 1929 г. Напечатан в трудах Съезда, т. VI. Прага, 1932. С. 10–30. Для настоящего издания внесены исправления и дополнения.

и трагедий? С такой же невозмутимостью делает дальше Николенька общее заключение о своем папе: «Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости». А образ страдальницы-матери, над семейной драмой которой только слегка приподымает завесу ее мать, бабушка Николеньки, в разговоре с князем Иваном Ивановичем: «Я часто думаю, — говорит она князю с намернувшимися слезами на глаза, — что он (т. е. отец) не может ни ценить, ни понимать ее и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старанию скрыть свое горе — я очень хорошо знаю это, — она не может быть с ним счастлива; и помните мое слово, если он не...» Толстой не дает бабушке договорить своих опасений, чтобы резким словом не сорвать завесу «благообразия» с детства Николеньки. Но Достоевский не мог не додумать до конца подлинного смысла этих семейных взаимоотношений. Горьким раздумьем и опасениями за судьбу своих детей полно и предсмертное письмо мама, и в этих своих опасениях она была права. Отец, сорокавосемилетний вдовец, женится вторично на красавице-соседке, Авдотье Васильевне Епифановой, «La belle flamande» <«Красавица фламандка»>, как ее звали в семье Иртеньевых. Три главы «Юности», в которых рассказывается о семье Епифановых, женитьбе отца и переживаниях детей в связи с этим, должны были вызвать в Достоевском, с его чувством неприкрашенной действительности, той реальной правды, которой он считал своим долгом служить творчеством, глубочайшее возбуждение*. Достаточно хоть слегка напомнить содержание этих глав, чтобы представить себе, что мог вложить в них Достоевский.

Кто такие были Епифановы? Семейство это, жившее по соседству с Иртеньевыми, состояло из матери, Анны Дмитриевны, пятидесятилетней вдовы, «еще свеженькой и веселенькой старушки», красавицы-дочери, Авдотьи Васильевны, и сына-заики Петра Васильевича, отставного холостого поручика, «весьма серьезного характера». В молодости Анна Дмитриевна, жившая в своей деревне врозь с мужем, вела такую жизнь, что «в околотке рассказывали про ее образ жизни такие ужасы, что Мессалина в сравнении с нею была невинное дитя». Толстой, оставаясь верным себе и здесь, пы-

* Драматичность этого эпизода почувствовал и Тургенев. «В одном упоминании женщины под названием «La belle flamande», которая появляется к концу повести, — целая драма», — пишет Тургенев в письме к Н. А. Некрасову 28 окт. 1852 г. См. Бродский Н. И. С. Тургенев в воспоминаниях современников и его письмах. 4. П. М. 1924. С. 38.

тается немедленно смягчить впечатление от этого «неблагообразия», ворвавшегося в его повествование. Он объясняет все слухами и сплетнями, но сам тут же сообщает такую подробность, которая должна была особенно запечатлеться в Достоевском. «В то время, когда я узнал Анну Дмитриевну, — пишет дальше Николенька, — хотя и был у нее в доме из крепостных конторщик Митюша, который, всегда напомаженный, завитой и в сюртуке на черкесский манер, стоял все время обеда за стулом Анны Дмитриевны, и она часто при нем по-французски приглашала гостей полюбоваться его прекрасными глазами и ртом, ничего похожего не было на то, что продолжала говорить молва». Это место можно бы воспринять как насмешку или иронию, если бы не общая установка «Детства и Отрочества» на «*comme il faut*» в человеческом общении. Сын-заика Петр Васильевич давал тоже богатый материал для художественной фантазии. Он дал себе слово и сдержал его «до тех пор, пока не уплатятся все долги, не носить другого платья, как отцовскую бекешу и парусинное пальто, которое он сшил себе, и не ездить иначе, как в тележке, на крестьянских лошадях». Он вел какой-то двойной образ жизни: «в гостинной, заикаясь, он раболепствовал перед матерью, исполнял все ее желанья, бранил людей, ежели они не делали того, что приказывала Анна Дмитриевна; у себя же в кабинете и в конторе строго взыскивал за то, что взяли к столу без его приказания утку и послали к соседке мужика по приказанию Анны Дмитриевны узнать о здоровье, или крестьянских девок, вместо того чтобы полоть в огороде, послали в лес за малиной». И, наконец, красавица-дочь Авдотья Васильевна, «одна из тех натур, которые ежели раз полюбят, то жертвуют уже всею жизнью тому, кого они полюбят». А дети, которые обсуждают совместно новость о предстоящей женитьбе отца и не могут не чувствовать чего-то «стыдного» в этом его шаге. И, наконец, эпилог этого брака, описанный в главе «Мачеха»; эпилог тоже недосказанный, но ясно предугадываемый! Молодая жена-красавица, всем жертвующая для своего мужа-игрока и не понимающая, что именно эта ее жертвенность пробуждает в муже то чувство «тихой ненависти», то сдержанное отвращение к предмету привязанности, которое выражается бессознательным стремлением «делать всевозможные мелкие моральные неприятности этому предмету»*. Разве это не сюжет для Достоевского?

Много еще таких больных мест в семейной обстановке, питавшей детство и юность Николеньки, можно бы указать в столь

* Толстой Л. Н. Полн. собр. худ. произведений. М.: Госизд. 1928, т. I, стр. 59, 61, 82–83, 266, 269, 270, 271, 297 (в порядке цитирования).

безмятежной на первый взгляд книге Толстого. Достоевский не мог не задуматься над вопросом, стоящим и перед нами до сих пор во всей силе: как могли при таком детстве и таком отрочестве и юности сформироваться дети душевно цельные и морально здоровые? На этот вопрос Достоевский должен был сам себе, в той или иной форме, ответить. Правда, он понимал, что Володя в вопросах нравственности не далеко уйдет от отца, что, начав с похождения в девичьей («Ну, куда руки суете, бесстыдник!»), он пройдет всю школу обычных для молодого человека его среды и его времени отношений к женщине; он понимал, что первый укус страсти не пройдет бесследно и для Николенки, и отрава эта пустит в нем глубокие корни. Он знал, что из этого потомства выйдут не только Болконские, Безуховы, Наташи и Левины, но и Курагины, Вронские, Облонские и Каренины. Для него все творчество Толстого превратилось в одну грандиозную семейную хронику, которую он стремился осмыслить и понять. И особенно важно было для него разрешить загадку, как могла эта грандиозная хроника, отражавшая жизнь со всеми ее положительными и отрицательными сторонами, сохранить то «благообразие», по которому он сам тосковал всю жизнь и которого ему не удавалось нигде найти.

2

В «Униженных и оскорбленных» Достоевский попытается в лице князя Петра Александровича Валковского вывести представителя аристократической семьи «без каких-либо убеждений». Но при этом он пойдет совершенно иным путем, чем Толстой. Он беспощадно клеймит всю нравственную испорченность этих героев. И не думал ли уже тогда Достоевский о «Детстве и Отрочестве», когда в 1861 году он пробовал впервые описать детей «случайного» семейства? По крайней мере, упоминание в самом тексте романа «Униженные и оскорбленные» одной сцены из «Детства и Отрочества» дает право на такое предположение*.

«Житие великого грешника», над которым Достоевский работал в 1869—70 г., выдает уже известную композиционную связь с «Детством и Отрочеством» и «Войной и миром» Толстого**. Я ду-

* Униж. и оск. III 177.

** Я не совсем понимаю, в каком смысле А. Долинин говорит о возможной художественной связи между «Игроком» и творчеством Толстого. По его словам, «в аспекте художественном, только один образ бабушки из «Игрока» может быть поставлен в некоторую параллель с образом Марьи Дмитриевны из «Войны и мира», быть может, и создан он был не без влияния Толсто-

маю, что прав Н. Н. Апостолов, когда высказывает предположение, что «Толстой, несомненно, раззадоривал и Достоевского написать именно нечто вроде «Войны и мира», хотя бы и с другим подходом и с другой, конечно, разработкой и трактовкой эпопеи русской жизни, но с такими же исканиями «народной души» и религиозными увлечениями на манер Пьера Безухова, с такими же философствованиями на каждую незначительную темку жизни и самоанализом наподобие князя Андрея и т. д. Достоевский мечтал, подобно Толстому, провести своих героев по длинному ряду испытаний и заставить их в пределах русской жестокой действительности перечувствовать самые разнообразные устремления, как это любил делать Толстой. Такая именно широта и панорамность сюжета, которая является приметной чертой творчества Толстого, конечно, могла увлекать Достоевского. Таким именно образом он и подошел к своему „Житию великого грешника“»^{*}.

Не случайно будущий роман этот рисуется Достоевскому «объемом в «Войну и мир», о чем он пишет в известном письме А. Н. Майкову от 25 марта 1870 года: «Эта вещь в «Зарю» уже два года как зреет в моей голове. Это та самая идея, о которой я вам уже писал. Это будет мой последний роман. Объемом в «Войну и мир», и идею Вы похвалили, — сколько я по крайней мере соображаю с нашими прежними разговорами с Вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельно одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву; тут действие еще в сороковых годах. Общее название романа есть «Житие великого грешника», но каждая повесть будет носить название отдельно. Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие...»^{**}

Задумав роман-эпопею, Достоевский надеялся в нем дать и «историю детства», как он ее понимал в противоположность Толстому. След этого отталкивания от Толстого сохранился и в самом плане «Жития великого грешника». Это место связано с Тихоном Задонским, у которого в монастыре по плану живет мальчик, герой романа.

го». См. Письма. I, 521. Тут явное недоразумение, так как «Игрок» писался раньше появления «Войны и мира».

^{*} См.: Апостолов Н. Н. Л. Толстой и его спутники. М. 1928 г. в гл. «Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». С. 131–155.

^{**} Письма. II, 263.

Намечен какой-то разговор Тихона с «барыней», и в этом разговоре Тихон говорит ей, «что она и России изменница, и детям злодейка». В объяснение этого дальше значит: «Как они детских образов еще с детства лишаются. Их изучения, хоть и точные (Лев Толстой, Тургенев), как бы чуждую жизнь открывают. Один Пушкин настоящий русский»^{*}.

Роман-эпопея не был осуществлен, и его богатое содержание, отразившееся в плане, еще долго питало творческое воображение Достоевского. Как бесспорно теперь доказано, следы этого замысла оставили ощутимый след в «Бесах»^{**}, «Подростке» и «Братьях Карамазовых». Здесь не место вскрывать этот процесс расщепления единого замысла на несколько сюжетов, но следует отметить, что Достоевский оказался бессильным создать роман-эпопею в духе Толстого. Ему суждено было дать другой образец прозаического искусства — роман-трагедию.

Но эта неудача не остановила Достоевского. Он продолжал носить с мыслью о создании своего «романа о детях». В бумагах Достоевского сохранилась запись, относящаяся к лету 1874 года следующего содержания: «Роман о детях, единственно о детях и о герое-ребенке»^{***}.

Но и этого романа ему не суждено было написать, хотя из него и вырос «Подросток», соответствовавший по заделу «Юности» Толстого. Роман «Подросток» и явился художественным ответом Толстому.

В «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский сам признает, что его «Подросток» явился в результате неосуществленного замысла романа о русском ребенке как его отдельная часть. «Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уж поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства. Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня напи-

* Документы по истории русской общественности. Достоевский Ф. М. М., 1922. С. 76 и Зап. тетр. Д-го. М., 1935. С. 161.

** Ср. запись 1 янв. 1870 г. о Ставрогине-Князе в черновиках к «Бесам»: «Совершенно обратный тип, чем (прогнивший) измельчавший до свинства отпрыск того благородного графского дома, которого изобразил Т(олстой) в «Детстве и Отрочестве»». «Зап. тетр.» М., 1935. С. 108–109.

*** См.: Бельчиков Н. Ф. Как писал романы Достоевский // «Печать и революция». 1928. № 2. С. 88.

сать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава Богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка», эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннюю ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это, оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Все это выкидыши общества, „случайные“ члены „случайных семей“*.

Понятие «случайного семейства» явится для Достоевского решающим для объяснения тому «неблагообразию», которое характеризует новую семью, столь отличную от семьи, изображенной Толстым в «Детстве и Отрочестве», а затем и в его романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Для Достоевского Толстой станет преимущественно писателем-историком одного определенного круга русского общества, бытописателем «среднедворянской» помещичьей семьи. Именно поэтому он позволит себе в письме к Н. Н. Страхову в 1871 году написать: «А знаете, ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним»**. В этом «историческом» значении Толстого видел Достоевский отчасти объяснение тому, что в произведениях Толстого, вопреки современной действительности, царит такое «благообразие». Для него было ясно, что «современное» семейство уже не может дать художнику материала для такого безмятежного описания. Эту свою точку зрения он с большой выпуклостью изложил позже в «Дневнике писателя» 1877 г.: «Никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более не рассортировано и не оформлено, как теперь. Где вы найдете теперь такие «Детства и Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь не более лишь как исторические картины давно прошедшего. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие

* Дн. пис. 1876. XI. 147–148.

** Письмо от 18/30 мая из Дрездена. Письмо II, 365.

прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время, и совсем не про то я говорю. Я говорю лишь об их характере, о законченности, точности и определенности их характера, — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более случайным семейством. Именно случайное семейство — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? Иные, и столь серьезные даже люди, говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет» Разумеется, все это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, т. е. высших сословий, не народном...»*.

К «Детству и Отрочеству» Достоевский возвращается еще раз в том же 1877 году в связи с самоубийством мальчика-гимназиста в К-ве. Этот случай дает ему повод сравнить Николеньку с современным мальчиком. Вот что он говорит в этой исключительно интересной выдержке о Николеньке: «Это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, по-этом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой». И все «Детство и Отрочество», по словам Достоевского, «чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный». Далее, говоря о случае самоубийства гимназиста в К-ве, Достоевский объясняет этот случай отчасти наличием в душе мальчика особенностей, отмеченных Толстым у Николеньки. Но не только этим, прибавляет Достоевский: «Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но есть и черты какой-то новой действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, историком которого явился у нас граф Лев Толстой, и как раз, кажется, в ту пору, когда для прежнего русского дворянского строя, утвердившегося на прежних помещичьих основаниях, пришел какой-то новый, еще неизвестный, но радикальный перелом, по крайней мере, огромные перерождения в новые и еще грядущие, почти совсем неизвестные формы... Мальчик графа Толстого мог мечтать с болезненными слезами расслабленного умиления в душе о том, как

* Дневн. пис. 1877. XII, 180.

они войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать о самоубийстве, но лишь мечтать: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы мечту до дела, а тут — помечтал, да и сделал... Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без историка. По крайней мере, ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?.. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее то всё ли было отмечено?»* Под тем же углом зрения Достоевский, как известно, рассматривает и «Анну Каренину». «Все та же история барского русского семейства» пишет он об этом романе**.

Но это все пока лишь прямые отклики на творчество Толстого, только помогающие нам понять художественный замысел «Подростка».

3

Уже Д. С. Мережковский*** с большой проницательностью отметил связь романа «Подросток» с «Детством и Отрочеством». «Едва ли не свою собственную жизнь, по сравнению с жизнью Толстого, разумел Достоевский, говорит он, когда называл героя романа «Подросток» членом случайного семейства — в противоположность еще недавним родовым нашим типам, имевшим столь отличное детство и отрочество». Позже на нее указал Л. П. Гроссман в своей «Библиотеке Достоевского»****.

Частично опубликованные В. Комаровичем рукописи к «Подростку» окончательно подтверждают связь самого замысла «Подростка» с «Детством и Отрочеством» Толстого.

Сохранился исключительно интересный для нас отрывок из т. н. «исповеди Версилова», не вошедший в окончательный

* Дн. пис. 1877 г. XII, 33–36.

** Дн. пис. XII, 52.

*** «Толстой и Достоевский». 4-е изд. «Общественная польза». СПб., 1909 г. Т. I. С. 81.

**** См. «Библиотека Достоевского». Одесса, 1919. С. 82.

текст романа, может быть, именно потому, что в нем слишком явно вскрывается связь замысла «Подростка» с семейной хроникой Толстого. Этот отрывок приобретает сейчас особенное значение для понимания характера художественной возбудимости Достоевского.

Приводим его ввиду важности целиком: «У меня, мой милый, есть один любимый русский писатель, он романист, но для меня почти историограф вашего дворянства, или, лучше сказать, вашего культурного слоя, завершающего собою «воспитательный» период нашей истории, по выражению одного современного русского генерала и, пожалуй, тоже писателя. В этом историографе вашего дворянства мне нравится всего больше вот это самое «благообразие», которого (ты ищешь или) искал, в героях, изображенных им. Он берет дворянина с детства и юношества, он рисует его в семье, его первые шаги в жизни, его первые (взгляды) радости, слезы и все так... незыблемо и неоспоримо.

Он психолог дворянской души. Но главное в том, что дано как неоспоримое, и уж конечно ты соглашаешься. Соглашаешься и завидуешь. О, сколько завидует! Есть дети, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное, уж в детстве начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установившихся форм и родового предания. Эти должны завидовать моему писателю, завидовать (моему) его героям (это те, я их в детстве еще видел) и, пожалуй, не любить их. О, это не герои: это милые дети, у которых прекрасные милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие по Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в университете из имеющих свой экипаж. Писатель выставляет их со всей откровенностью: они лично часто даже смешны и забавны, нередко и ничтожны, но как целое, как сословие, они, бесспорно, изображают собою нечто законченное. В основах этого высшего слоя русских людей лежит что-то незыблемое и неоспоримое. Тут всякий индивидуум может иметь свои слабости и быть очень смешным, но он крепок целым, нажитым в два столетия, и корнями, и раньше того. И несмотря на реализм, на действительность, на смешное и комическое, тут возможно и трогательное, и патетическое. Как бы там ни было хорошо все это или дурно само по себе, но тут уже (порядок тут честь) выжитая определенная форма, тут (и) сложились правила, тут своего рода честь и долг. О, и не в одной Москве, и не в одних только клубах, и не все хлебосольничают: историк раздвигает самую широкую (и славную) историческую картину культурного слоя. Он ведет его и выставляет в самую славную эпо-

ху отечества. Они умирают за родину, они летят в бой пылкими юношами или ведут в бой все отечество маститыми полководцами. О... беспристрастность, реальность картин придает изумительную прелесть описанию тут рядом с представителями талантов, чести и долга — столько открыто негодяев, смешных ничтожностей, дураков. В высших типах своих историк выставляет с тонкостью и остроумием именно перевоплощение в лицах русского дворянства: тут и масоны, тут и перевоплощение пушкинского Сильвио, взятого из Байрона, тут и зачатки декабристов. В последних произведениях своих художник берет уже время новейшее, современное. Мальчик, которого он описывал в детстве, уже вырос, он — современный помещик без крестьян, но с хозяйством. Он не любит земских собраний и не ездит на них... но он как будто еще не готов к чему-то... какая-то всегда тихая и недоумевающая меланхолия лежит на его действиях и на его мировоззрении...»*.

С первых же слов ясно, кого здесь надо подразумевать под «любимым русским писателем», ясно далее, что речь здесь идет о «Детстве и Отрочестве», «Войне и мире» и начале романа «Анна Каренина». Особенно значительны в этом отрывке замечания о Левине, на действиях которого, по мнению Достоевского, лежит «всегда тихая и недоумевающая меланхолия». Это замечание нам еще пригодится в самом конце нашего исследования.

Очень интересна и другая черновая запись Достоевского, выдающая все ту же связь «Подростка» с произведениями Толстого. Она опубликована в немецком издании «Пипера»**.

Противопоставление двух типов русских семей, которое было позже сделано в уже приведенных мною выше выдержках из публицистики Достоевского, ясно высказано и в этих черновых заметках к роману.

Здесь же намечен и образ Версилова с его «тоской русского дворянина», одного из тысячи, сохранившего веру в особую

* Рукописные варианты «Исповеди» Версилова // «Начала». 1922. № 2. С. 218–220. Насколько отчетливо Достоевский себе представлял соответствующие места романа Толстого, видно из следующих мест. В гл. V, ч. 1 «Анны Карениной» при первой встрече Облонского с Левиным последний говорит ему: «Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбрался и не езжу больше на собрания». В разговоре с Сергеем Ивановичем Кознышевым, в гл. 8 ч. 1 Левин опять повторяет: «не езжу больше на собрания». У Левина, как известно по роману, «три тысячи десятин в Каразинском уезде». Между высказываниями Левина и Версилова по отдельным вопросам есть частичные совпадения. Ср., напр., отношение Левина к крепостному праву (ч. III, гл. 3) со словами Версилова (VIII, 391).

** <...> немецкий текст по изданию: «Der unbekannte Dostojewski». Miinchen, Piper Verlag. 1926. S. 467–468.

миссию русского передового сословия. В основных чертах тут предначертана вся «исповедь» Версилова, столь эмоционально и идейно насыщенная. В черновых отрывках еще резче подчеркнута духовная близость отцов и детей, общий источник их тоски и душевной неустроенности. Уже в окончательном тексте Версилов намечает эту свою общность с сыном: «Видишь, друг мой, я давно уже знал, что у нас есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей. Я наметил этих задумывающихся еще с моей школы и заключил тогда, что все это потому, что они слишком рано завидуют. Затем, однако, что я и сам был из задумывающихся детей, но... извини, мой милый, я удивительно как рассеян. Я хотел только выразить, как постоянно я боялся здесь за тебя почти все это время. Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, но сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. Я тоже, как и ты, никогда не любил товарищей. Беда этим существам, оставленным на одни свои силы и грезы и с страстной, слишком ранней и почти мстительной жаждой благообразия, именно “мстительной”. Но довольно, милый; я опять уклонился... Я еще прежде чем начал любить тебя, уже воображал тебя и твои уединенные, одичавшие мечты...»*. Но он не договаривает здесь последнего слова.

Если молодой Долгорукий самым своим происхождением подчеркивает отпадение от дворянского ствола, если в этом «подлом» происхождении лежит один из главных источников его страданий, то Версилов становится скорее идейным «изменником» своему классу, и не случайно он назывался ранее в черновых вариантах Брутияровым. Он взял на себя трудное бремя отщепенства и сломился в конце концов под этим бременем. Если хотите, он родной брат Левина, как и Николенька брат застрелившегося гимназиста. Но разница в них та, что Левин при всем своем бунтарстве остается все же внутри своего класса, а Версилов как бы выпадает из него. Эта разница прекрасно выражена Достоевским в заключительной главе романа. Там, говоря о юношах, способных на безумия «от затаенной жажды порядка и благообразия», автор письма к Долгорукому пишет: «Замечу, кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с успехом примыкали впоследствии к нашему высше-

* «Подросток», VIII. С. 391.

му культурному слою и сливались с ним в одно целое»*. Пусть это сказано скорее по отношению к выходцам из недворянского слоя, но еще больше это относилось к тем, кого условно Достоевский в этой записи именует Чацкими. Отпадение Версилова сопровождается особыми переживаниями, «дворянской тоской», о которой он упоминает в своей исповеди. Как бы там ни было, Версилов не человек прошлого, а будущего, он открывает собою новую полосу в общественном развитии, но расплачивается тяжело за свое отпадение. Его жажда «живой жизни», символически скрытая в его любви-ненависти к Ахмаковой, раскрывает перед нами трагедию отцов в понимании Достоевского. «Жажда благообразия», утраченная вместе с отпадением от родового корня, наполняет трагедию детей. Эта жажда благообразия — другая сторона тоски по «живой жизни», и не случайно и отец и сын любят Ахмакову одинаковой любовью. В свою очередь Версилов хорошо знает внутренние муки своего сына. «Жажда его — была его жаждой», говорит Достоевский о нем, понимая здесь под жаждой тоску по благообразию. Когда Версилов услышал это много ему говорящее слово, произнесенное сыном в горячечном бреде, он вдвое его полюбил. Он сам признается в этом сыну (по черновому варианту): ...Знаешь, друг мой Аркадий, несколько дней назад ты вдруг вымолвил в жару одно слово, которое очень меня поразило — «благообразие». Я понял, что в нас нет его, а что ты его ищешь с того дня, как себя помнишь, и что потому ты бросаешь нас и идешь искать его в другом месте. Ну это точь-в-точь так и есть: зная, что не дам тебе благообразия, я и не звал тебя до сих пор. Ведь приехал ты из Москвы почти случайно. Но ты не поверишь, как стал ты мне сразу вдвое роднее и понятнее после этого твоего восклицания о благообразии. «Неужели мы до такой близкой степени друг на друга похожи?» подумал я и вдвое тебя полюбил. Ну, а подумав еще, я догадался, что ты ничего не сказал мне о себе нового, и я знал об этом еще два года назад, может, пять лет назад. Потому что постоянно думал о тебе, мой милый, — этому ты должен поверить»**.

Это признание относится к тому месту романа, где юноша впервые осознал смысл своей тоски: «Конечно, я и тогда твердо знал, что не пойду странствовать с Макаром Ивановичем и что сам не знаю, в чем состояло это новое стремление, меня захватившее, но одно слово я уже произнес, хотя и в бреде»: «В них нет

* См. «Подросток», VIII. С. 474.

** Рукописные варианты «исповеди» Версилова // «Начала». 1922. Кн. 2. С. 226.

благообразия!» «Конечно, — думал я в исступлении, — с этой минуты я ищу «благообразия», а у них его нет, и за то я оставлю их»*.

В «Подростке» Достоевский сознательно столкнул два резко отличных мирозерцания, взяв, с одной стороны, представителя родового дворянства в том понимании, как он приписывал его Толстому, — в лице князя Сергея Петровича Сокольского, и с другой стороны — Версилова. Их противоположность подчеркнута выявлена в разговоре князя Сергея Петровича с Версиловым на тему о дворянстве. Приводим этот разговор в передаче весьма заинтересованного свидетеля, молодого Долгорукого: «Они говорили о дворянстве. Замечу, что эта идея очень волновала иногда князя, несмотря на весь его вид прогрессизма, и я даже подозреваю, что многое дурное в его жизни произошло и началось из этой идеи: ценя свое княжество и будучи нищим, он всю жизнь из ложной гордости сыпал деньгами и затынулся в долги. Версилов несколько раз намекал ему, что не в том состоит княжество, и хотел насадить в его сердце более высшую мысль, но князь под конец как бы стал обижаться, что его учат... Слова Версилова показались мне сначала ретроградными, но потом он поправился.

— Слово «честь» значит долг, — говорил он (я передаю лишь смысл его и сколько запомню). — Когда в государстве господствует главенствующее сословие, тогда крепка земля. Главенствующее сословие всегда имеет свою честь и свое исповедание чести, которое может быть и неправильным, но всегда почти служит связью и крепит землю; полезно нравственно, но более политически. Но терпят рабы, то есть все не принадлежащие к сословию. Чтоб не терпели — сравниваются в правах. Так у нас и сделано, и это прекрасно. Но по всем опытам, везде доселе (в Европе то есть) при уравнении прав происходило понижение чувства чести, а стало быть, и долга. Эгоизм заменял собою прежнюю скрепляющую идею, и все распадалось на свободу лиц. Освобожденные, оставаясь без скрепляющей мысли, до того теряли под конец всякую высшую связь, что даже полученную свободу свою переставали отстаивать. Но русский тип дворянства никогда не походил на европейский. Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием в виде хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас слишком издавна; теперь уже пришло

* «Подросток», VIII. С. 321.

время отворить их окончательно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. Таким образом, сословие само собою обращается в собрание лучших людей, в смысле буквальном и истинном, а не в прежнем смысле привилегированной касты. В этом новом, или, лучше, обновленном, виде могло бы удержаться сословие...

— Это какое же будет тогда дворянство? Это вы какую-то масонскую ложу проектируете, а не дворянство.

— Я не знаю, в каком смысле вы сказали про масонство, — ответил он, — впрочем, если даже русский князь отрекается от такой идеи, то, разумеется, еще не наступило ей время. Идея чести и просвещения, как завет всякого, кто хочет присоединиться к сословию, не замкнутому и обновляемому непрерывно, конечно — утопия, но почему же невозможная? Если живет эта мысль хотя лишь в немногих головах, то она еще не погибла, а светит, как огненная точка в глубокой тьме...

— Я хотел только сказать, что ваша идея о дворянстве есть в то же время и отрицание дворянства, — сказал князь.

— Ну, если уж очень того хотите, то дворянство у нас, может быть, никогда и не существовало»*.

В разговоре этом Достоевским высказана одна из самых дорогих ему идей о духовном дворянстве, о том, что Версилов определяет выражением: «gentilhomme avant tous» <«джентельмен прежде всего» (фр.)>, едва ли не противопоставляя его толстовскому понятию «comme il faut». Идея эта уже раньше волновала князя Льва Николаевича (и случайно ли Льва Николаевича?) Мышкина. Эта идея занимает существенное место в исповеди Версилова, в которой так ярко выступило «его убеждение, направление всей его жизни». «Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, — тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, всего только тысяча человек — может, более, может, менее, — но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало»**. Вслед за этим идет известное место исповеди о «закате челове-

* Подросток, VIII, 185–187.

** Подр. VIII, 394.

чества», с поразительной мыслью о «царстве Божиим» на земле без Бога. Показательно, что Достоевский в своем сознании и это центральное место «исповеди» Версилова как-то связывал с психологией представителей 40-х годов, бывших помещиков-прогрессистов. По одному случайному поводу в 1876 году, говоря о «церкви атеистов», Достоевский вспомнил это место «Подростка» и дал к нему свой комментарий: «Позволю себе сделать выписку из одного моего недавнего романа — «Подросток». Об этой «церкви атеистов» я узнал лишь на днях, гораздо позже того, как я окончил и напечатал роман мой. У меня тоже об атеизме, но это лишь мечта одного из русских людей нашего времени, сороковых годов, бывших помещиков-прогрессистов, страстных и благородных мечтателей рядом с самою великорусскою широкостью жизни на практике. Сам этот помещик — тоже без всякой веры и тоже обожает человечество, «как и следует русскому прогрессивному человеку» Он высказывает мечту свою о будущем человечестве, когда уже исчезнет в нем всякая идея о Боге, что, по его понятиям, несомненно случится на всей земле». Далее идет известное место из «Подростка» о закате человечества. Затем Достоевский кончает словами: «Не правда ли, тут, в этой фантазии, есть несколько сходное с этою, уже действительно существующею „церковью антихриста“»*.

Возвращаясь к идее «дворянства» в представлении Версилова, надо сказать, что не только для него «духовное дворянство» мыслится как выход из того тупика, в котором очутилась отколовшаяся от основного дворянского слоя интеллигенция, но и сын его в этом же «благородстве» видит путь к восстановлению утраченного «благообразия». В этом именно смысле в одном из рукописных вариантов вскрыто символическое значение образа Макара Ивановича: «Я обнимал и целовал старика, ты видел, я в восторге слушал его. Я признаю его дворянином и верую, что недалеко время, когда дворянином станет весь народ русский... Я ощущал эту будущую правду и понимал ее, и не мог не тосковать о напрасных муках. А между тем все должно было кончиться Царством Божиим. Пройдя напрасные муки, все равно пришли бы к Царствию Божию»**.

И опять же эта идея какими-то нитями тянется к Толстому, так, по крайней мере, в связи со всем предыдущим надо понимать одну загадочную фразу черновиков: «Ростовы в народ»,

* Дневн. пис. 1876. XI, 240, 241.

** Рукописные варианты «исповеди» Версилова // «Начала». 1922. Кн. II. С. 220.

имеющуюся в опубликованных в немецком издании рукописях к «Подростку»*.

4

Так с несомненностью устанавливается, что художественный замысел романа «Подросток» находится в связи с впечатлениями от чтения Достоевским произведений Толстого. Мы обнаруживаем бесспорные следы воздействия Толстого на творчество Достоевского, но это воздействие весьма своеобразного характера. Достоевский почувствовал под влиянием чтения Толстого непреодолимую потребность разрешить для себя вопросы, поставленные перед ним произведениями Толстого. В первую очередь он хотел объяснить себе разницу в своем восприятии русской действительности по сравнению с ее отображением в творчестве своего великого современника. Как публицист, он дал это объяснение на страницах «Дневника писателя». Как художник, он ответил Толстому своим «Подростком». Сопоставление этих двух ответов обнаруживает большую последовательность в мировоззрении Достоевского, а может быть, лишний раз подтверждает, что элементы художественного обобщения более значительны в «Дневнике писателя», чем это принято обычно думать.

Для нас особый интерес и глубокий смысл приобретает особенно оценка, данная Толстому Достоевским в художественном преломлении его романа. Она вскрывает любопытные черты дарования Достоевского, влекущие его в сторону художественной полемики. Она дает нам возможность и глубже оценить и понять самый художественный замысел «Подростка». Наконец, она объясняет кое-что и в самой композиции, и в построении отдельных деталей этого произведения.

Как мы видели, два толстовских образа особенно задели Достоевского: Николеньки из «Детства и Отрочества» и Левина из «Анны Карениной».

Композиционно и сюжетно «Детство и Отрочество» могло в сознании Достоевского отложиться как история «отца и сына», к чему достаточно оснований давал сам Толстой. Как мы видели, Достоевский все творчество Толстого («Детство, отрочество и юность», «Война и мир», начало «Анны Карениной») рассматривал как одно законченное целое, как роман-эпопею из жизни «средне-высшего дворянского круга», историком которого, по мнению его, и был по преимуществу Толстой. История детства

* «Der unbekannte Dostojewski». С. 470.

поэтому легко могла осложниться историей «отцов и детей», что подтверждает уже ранее приводившаяся выдержка из «Дневника писателя» 1876 года, где Достоевский говорит, что он «чуть не написал своих «Отцов и детей»». При таком построении замысла пара Николенька — Петр Александрович Иртеньевы могла вызвать в романе Достоевского соответствующую пару — Аркадий и Версиков. В процессе переосмысливания согласно своим задачам сюжета образ «отца» осложнился чертами Левина, произошла как бы своеобразная перестановка — Николенька стал сыном Левина, но оба были перенесены в другую эпоху и смещенную социальную среду.

Я уже в начале своей работы пытался показать, в каком направлении Достоевский мог истолковать семейную жизнь Иртеньевых, если бы он сосредоточил на ней свое художественное внимание. Теперь мне хотелось бы наметить несколько опорных точек, от которых Достоевский мог исходить в своем художественном переосмысливании «Детства и Отрочества».

В хорошо всем памятной главе «Отрочества», озаглавленной «Мечты», которую и Достоевский прочно запомнил, как видно по его «Дневнику писателя», где он именно эту главу припоминает, рассказывается о переживаниях Николеньки, запертого С. Жеромом в чулан. Николенька старается объяснить себе причину, как ему казалось, «общей к нему нелюбви и даже ненависти». «Я должен быть не сын моей матери и моего отца, не брат Володи, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости, говорю я себе; и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то грустное утешение, но даже кажется совершенно правдоподобной. Мне отраднее думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного Карла Ивановича...» Правдоподобной могла оказаться эта мысль в еще более, казалось бы, нелепом виде — Николенька мог быть членом «случайного» семейства, каким и сделан Аркадий Макарович Долгорукий, сын помещика и дворовой. И в таком случае «отрада думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба от самого моего рождения» превратится в мучительное наслаждение своим позором. Таким образом, сюжет «отца и сына» осложнялся и расщеплялся наличием двух семей — одной настоящей «дворянской», другой — «случайной».

Вспомним, кстати, и «участь несчастного Карла Ивановича», которую припомнил Николенька в чулане. «В жилах моих течет благородная кровь графов фон Зоммерблатт, — говорит он. —

Я родился шесть недель после свадьбы. Муж моей матери (я звал его папенька) был арендатор у графа Зоммерблатт. Он не мог позабыть стыда моей матери и не любил меня. У меня был маленький брат Johan и две сестры; но я был чужой в своем собственном семействе!»

Мог Достоевский использовать и намеченную уже у Толстого противоположность между тихой и робкой в своей любви матерью и красавицей «*belle flamande*», заполнив эту противоположность иным, более глубоким содержанием в обрисовке матери Долгорукого и Ахмаковой.

Одно место в сцене детских разногласий в связи с предстоящей женитьбой отца, о которой я уже говорил, дает возможный намек и на ту сложную интригу, которая легла в основание истории Верилова и Ахмаковой.

«— Из чего же папá женится, — спросил я.

— Это темная история, Бог их знает; я знаю только, что Петр Васильевич (брат Авдотьи Васильевны) уговаривал его жениться, требовал; что папа не хотел, а потом ему пришла фантазия, какое-то рыцарство, — темная история»*.

В этой же сцене Любочка выступает на защиту отца, чувствуя, что и его, и мать ее оскорбляет Володя, называя свою будущую мачеху «дрянью».

У Достоевского имеется сходная сцена, когда сестра подростка вступает за Верилова:

«— Вообрази, — говорит Подросток сестре, — у него грудной ребенок от Лидии Ахмаковой... впрочем, что же я тебе говорю...

— У него? Грудной ребенок? Но это не его ребенок! Откуда ты слышал такую неправду?

— Ну, где тебе знать.

— Мне-то не знать? Да я же и нянчила этого ребенка в Луге. Слушай, брат. Я давно вижу, что ты совсем ни про что не знаешь, а между тем оскорбляешь Андрея Петровича, ну и маму тоже»**.

Можно бы продолжить эти указания на наличие в «*Детстве и Отрочестве*» таких сюжетных узлов, из которых легко могли быть Достоевским развиты отдельные сцены и положения его романа о Подростке.

Должен оговориться, что все эти указания я делаю отнюдь не с целью указать на непосредственное влияние «*Детства и Отрочества*» на роман Достоевского. Мне представляется, что и без них достаточно и прямых и косвенных показаний, что «*Подро-*

* *Детство и Отр.* I, 153, 138, 275 (в порядке цитирования).

** *Подр.* VIII, 137.

сток» писался под известным идейным воздействием Толстого. Мне эти указания важны для уяснения способа проникновения в самый процесс отбора Достоевским художественного материала. Зная все творчество Достоевского и его художественную манеру, можно предположить, что именно так он должен был переосмыслить поразившее его воображение произведение Толстого, а в таком случае вполне возможно, что в отдельных случаях удастся исследователю более детально проследить пути, по которым шел Достоевский в своей творческой работе. Такую попытку я и делаю. Внутренняя идейная связь двух произведений делает вероятными отражения этой связи и на внешней форме произведения. Без этого мы могли бы эти внешние совпадения объяснить простой случайностью. При наличии этой более глубокой внутренней связи многое, что кажется на первый взгляд случайным, находит свое неожиданное объяснение.

Мне кажется, например, но я боялся бы это утверждать с полной определенностью, что в «Подростке» можно обнаружить даже кое-какие осколки личной биографии Толстого. Это легко объяснить тем, что в процессе работы над «Подростком» Достоевский был во власти художественных образов Толстого. Интерес к творчеству Толстого вызывал интерес к его личности. О Толстом он многое знал от общего друга, Н. Н. Страхова. Так, еще в 1870 году он запрашивал Страхова: «Не знакомы ли Вы с Львом Толстым лично? Если знакомы, напишите, пожалуйста, мне, какой это человек? Мне ужасно интересно узнать что-нибудь о нем. Я о нем очень мало слышал как о частном человеке»*. Если это так, то не случайно Версилов оказался владельцем имения в Тульской губернии, не случайно он «вступил в мировые посредники первого призыва и, говорят, прекрасно исполнял свое дело, но вскоре кинул его» и не случайно, наконец, женою его и матерью героя оказалась Софья Андреевна. Но я чувствую, что здесь я в своих догадках захожу слишком далеко, и было бы, может быть, осторожнее вовсе об них не говорить.

5

«Подросток» кончается эпилогом. Достоевский пользуется им, чтобы еще раз со всею возможною ясностью противопоставить себя — романиста «героя случайного семейства» — «воображаемому романисту» героя из русского родового дворянства. «Если бы я был русским романистом и имел талант, то непре-

* Письмо к Страхову от 28 мая 1870 г. Письма. II. С. 272.

менно брал бы героев моих из русского родового дворянства, потому что лишь в одном этом типе культурных русских людей возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления, столь необходимого в романе для изящного воздействия на читателя. Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я — совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих и «Преданиях русского семейства», и поверьте, что тут действительно все, что у нас было доселе красивого. По крайней мере, тут все, что было у нас хотя сколько-нибудь законченного. Я не потому говорю, что так уж безусловно согласен с правильностью и правдивостью красоты этой; но тут, например, уже были законченные формы чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде не начато. Я говорю как человек спокойный и ищущий спокойствия. Там хороша ли эта честь и верен ли долг — это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый... Но все это философия; воротимся к воображаемому романисту. Положение нашего романиста в таком случае было бы совершенно определенное: он не мог бы писать в другом роде, как в историческом, ибо красивого типа уже нет в наше время, а если и остались остатки, то, по владычеству теперь мнению, не удержали красоты за собою. О, и в историческом роде возможно изобразить множество еще чрезвычайно приятных и отрадных подробностей! Можно даже до того увлечь читателя, что он примет историческую картину за возможную еще и в настоящем. Такое произведение, при великом таланте, уже принадлежало бы не столько к русской литературе, сколько к русской истории. Это была бы картина, художественно законченная, русского миража, но существовавшего действительно, пока не догадались, что это — мираж. Внук тех героев, которые были изображены в картине, изображавшей русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской, — этот потомок предков своих уже не мог бы быть изображен в современном типе иначе как в несколько мизантропическом, уединенном и несомненно грустном виде. Даже должен явиться каким-нибудь чудачком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле. Еще далее — и исчезнет даже и этот внук-мизантроп; явятся новые лица, еще неизвестные, и новый мираж; но какие же лица? Если некрасивые, то невозможен

дальнейший русский роман. Но — увы! — роман ли только окажется тогда невозможным?»

Не может подлежать сомнению после всего сказанного, что вовсе не «воображаемого» романиста имеет в виду Достоевский, а графа Л. Н. Толстого, давшего миру свой единственный по законченности роман-эпопею с героем Николенькой-Левиным.

Восторгаясь «правильностью и правдивостью красоты» этой эпопеи, Достоевский в то же время вынес автору ее и свой суровый приговор. Роман этот, так восхищавший всех своей жизненной правдой, по мнению Достоевского, только «русский мираж», Левин, «внук героев» этого романа, изображавшего «русское семейство средне-высшего культурного круга в течение трех поколений сряду и в связи с историей русской», рисуется Достоевскому «чужаком, которого читатель с первого взгляда мог бы признать как за сошедшего с поля и убедиться, что не за ним осталось поле». На смену им, этим представителям родового семейства, пришли новые отцы и новые дети — интеллигенция: дворянские отщепенцы, рыцари еще не найденной дамы, тоскующие тоской дворянина по «живой жизни», — и их дети — члены «случайных» семейств, со своей жаждой «благообразия». Заглянуть во внутренний мир этих новых, действительных, а не миражных героев и хочет в своем «Подростке» Достоевский. Он знает, что это новое не укладывается еще в законченные красивые формы, что создать из этого материала романа невозможно. «Но что делать, однако же, писателю, не желающему писать лишь в одном историческом роде и одержимому тоской по текущему». И Достоевский предпочтет «угадывать и... ошибаться», чем следовать Толстому и создавать «русские миражи».

«Подросток» кончается суждением Достоевского о творчестве Толстого и осуждением его. Был ли прав Достоевский в своей оценке Толстого — вопрос иной и на него здесь не место отвечать. Задачей моей было показать, как в роман «Подросток» органически вплетается художественная полемика с Толстым.

